

Большев Александр Олегович

Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
olegovich1955@mail.ru

Парадокс Петкевича (об особенностях смысловой структуры мемуарной книги Т. В. Петкевич «Жизнь — сапожок непарный»)

Для цитирования: Большев А. О. Парадокс Петкевича (об особенностях смысловой структуры мемуарной книги Т. В. Петкевич «Жизнь — сапожок непарный»). *Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература*. 2018, 15 (4): 651–658. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu09.2018.412>

Объектом рассмотрения является автобиографическое произведение Тамары Петкевич «Жизнь — сапожок непарный». Конкретно же речь идет о парадоксе, составляющем основу образа отца героини-рассказчицы — Владислава Петкевича. Этот рыцарь коммунистической идеи, которого отличала исключительная моральная чистота, по отношению к старшей дочери Тамаре проявлял садистскую жестокость: регулярно бил ее плетью, причем всякий раз беспричинно. Попытки автора исповедальной книги отыскать какие-либо рационально-логические причины плеточных экзекуций оказываются неудачными. В результате же жестокость отца по отношению к дочери приобретает иррационально-мистический характер. Не исключено, что ситуация обнаруживает знаково-символическую универсальность: мы воочию видим, как зло овладевает добрым человеком, и эта одержимость становится своего рода эмблемой сталинской эпохи. Такого рода остающиеся неразрешенными загадки крайне редко встречаются в произведениях мемуарного плана. Парадоксы возможны, только если они находятся на периферии автобиографического текста и не связаны напрямую с главной линией прослеживаемой жизни. Молодой автобиографический персонаж — участник воспроизводимых событий может пребывать в неведении относительно логики своей судьбы, но умудренный опытом автор-рассказчик, всматривающийся в эти события через толщу времени, ясно видит их глубинную суть. В особенности же это характерно для произведений, авторы которых, подобно Т. В. Петкевич, прошли сквозь сталинские тюрьмы и лагеря. В результате же мемуарный текст Т. В. Петкевич обнаруживает «поступательную (процессуальную) устремленность», которая, по мнению Гэри Морсона, составляет глубинную основу таких произведений, как «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Идиот» и «Бесы» Ф. М. Достоевского, «Война и мир» Л. Н. Толстого. Важную роль в каждой из этих книг играет фактор демиургической неуверенности автора. За неспособностью героини Петкевич разгадать загадку иррациональной жестокости, проявленной по отношению к ней ее добрым отцом, мы обнаруживаем подлинную (а не фикциональную) авторскую тревогу. Очевидно, именно этой особой жизнеподобностью, присущей произведениям поступательно-процессуального типа, обусловлен эффект воздействия книги Т. В. Петкевич «Жизнь — сапожок непарный» на читателя.

Ключевые слова: Т. В. Петкевич, автобиография, судьба, парадокс, жестокость.

При внимательном чтении исповедально-автобиографического произведения Т. В. Петкевич «Жизнь — сапожок непарный» трудно не обратить внимания на парадокс, связанный с образом отца героини-рассказчицы, Владислава Иосифовича Петкевича. Характер этого героя очерчен весьма определенно — его основу составляет противоречие «между велениями партийного долга и простой человечностью»¹ [Петкевич: 22]. Действительно, перед нами образ истинного комиссара, рыцаря коммунистической идеи, устремленного к утопическим идеалам. Отечественная литература XX в. создала целую галерею персонажей данного типа — от горьковского Павла Власова до «комиссаров в пыльных шлемах», которых воспевал молодой Булат Окуджава. Подобно им, Владислава Петкевича отличает совершенно исключительная порядочность, безупречная моральная чистота, в силу чего он пользуется среди знакомых и сослуживцев непререкаемым авторитетом: «Я с детства слышала от друзей родителей: „Таких замечательных людей, как Владислав Иосифович, больше нет“» [Петкевич: 15].

Все детали и нюансы поведения Владислава Петкевича в полной мере укладываются в рамки вышеупомянутого внутреннего конфликта между приверженностью утопической доктрине, с одной стороны, и «простой человечностью» — с другой. Неудивительно, что по мере укрепления тоталитарного сталинского государства этот рыцарь мировой революции испытывает все больший морально-психологический дискомфорт. Важнейшим рубиконом в его судьбе оказывается участие в раскулачивании сибирских крестьян: в результате он привозит из деревни и прописывает у себя нескольких детей двух «кулаков». Вполне естественно, что далее когнитивный диссонанс заставляет героя все чаще прибегать к алкоголю, под влиянием которого он однажды даже поднял руку на жену.

Итак, перед нами персонаж, о котором можно было бы сказать, что логика его характера и судьбы достаточно ясна, если бы не одно очень существенное «но». Есть момент в поведении героя, который не укладывается в рамки вышеупомянутой коллизии, — как, впрочем, не укладывается этот парадокс и в какие бы то ни было еще рамки, ускользая вообще от любых завершающих определений. Я имею в виду крайне жестокое обращение Владислава Петкевича с собственной старшей дочерью — героиней-рассказчицей Тамарой Петкевич. В спальне родителей у изголовья висела кожаная, заплетенная в косу плеть, предназначенная для наказания ребенка:

«Отец брал ее в руки и принимался меня бичевать как-то всегда неожиданно. Делал это неистово, беспощадно. Мои вопли только распяляли его» [Петкевич: 13].

Ребенок умоляет «папочку» не бить его («Папочка, миленький... не надо... Папочка, не бей меня, не бей меня, пожалуйста!..»), «но папочка угрюмо продолжал меня полосовать», «стегал и стегал» [Петкевич: 13]. После чудовищной экзекуции ребенка еще и ставили в угол, если он отказывался просить прощения. Прощение же ребенок просил не всегда — прежде всего потому, что решительно не понимал, за что его наказывают. Как известно, «автор мемуаров предстает сам в двух вре-

¹ Петкевич Т. В. *Жизнь — сапожок непарный*. В 2 ч. Ч. 1. СПб.: Балтийские сезоны, 2010. — Ссылки на это произведение приводятся в тексте статьи в квадратных скобках с указанием автора и страницы.

менных измерениях: время, описываемое им, и время, когда он создает свой текст» [Лицук, Лицук 2014: 4], и нет ничего удивительного в том, что автобиографическая героиня, юная участница изображаемых событий, не догадывалась о причинах отцовской жестокости. Однако представляется странным, что эту тайну не в силах разгадать и имплицитный автор — обладающая необыкновенно богатым и трагическим опытом Тамара Владиславовна Петкевич:

«Добросовестно пытаюсь вспомнить, за что меня наказывали, — и не могу. <...> Знаю, что не воровала, не врала, не ругалась. Носилась по квартире? На улице разбивала коленки? Было! Не слушалась? Возможно» [Петкевич: 13].

Здесь надо подчеркнуть, что эту книгу отличает совершенно уникальная для обычных произведений исповедально-автобиографического плана искренность, находящая выражение прежде всего в полном отсутствии даже намека на тенденцию к самооправданию (не говоря уже о самоапологии). Рассказчица постфактум упорно пытается отыскать свою вину, ставшую причиной экзекуций: «Какие-то поводы наверняка были» [Петкевич: 13]. Не в силах вспомнить никаких своих детских грехов, рассказчица озвучивает «психоаналитическую» версию — возможно, полагает она, сработал механизм вытеснения неприятных воспоминаний о персональных неблагоприятных действиях в подвалы бессознательного: «Что-то в этой точке оплавлено давним элементарным страхом» [Петкевич: 13]. Однако сама по себе настойчивость попыток рассказчицы припомнить собственные младенческие проступки, а следовательно, отыскать хоть какие-то рационально-логические причины зверской жестокости, проявляемой отцом, помогает читателю понять: никаких резонансов для насилия над ребенком не существовало, садизм Владислава Петкевича носил всецело иррационально-безмотивный характер.

Рассказчица высказывает ряд предположений относительно возможных объективных предпосылок отцовских эксцессов («издержки фронтовой контузии» [Петкевич: 15], выплескивание скопившейся за годы войны жестокости, она была для родителей несвоевременным ребенком и т. д.), но все эти объяснения не могут рассеять читательского недоумения.

Ситуацию окончательно запутывает ряд обстоятельств. В мечтах Владислава Иосифовича Петкевича о грядущей райско-коммунистической гармонии основную роль занимала детская тема. Он буквально грезил «о детском благоденствии, о великолепии детских садов будущего» [Петкевич: 12]. И ко всем остальным детям, включая собственных младших дочерей, а также вышеупомянутых детей раскулаченных сибирских крестьян, он проявлял свою обычную доброту.

В связи с процитированными описаниями плеточных экзекуций у всякого мало-мальски культурного читателя неизбежно возникает литературная ассоциация, сознательное акцентирование которой, судя по всему, отнюдь не входило в планы автора книги. Конечно же, речь идет о знаменитом «бунте» Ивана Карамазова, точнее говоря, о рассуждениях героя «Братьев Карамазовых» по поводу чудовищной человеческой жестокости, жертвой которой оказываются ни в чем не повинные маленькие дети. Истязания главной героини «Жизни — сапожка непарного» являют собою очевидную мотивно-смысловую параллель к рассказам Ивана, в одном из которых интеллигентный господин суковатыми розгами сечет соб-

ственную дочку, «младенца семи лет» (причем секущий «разгорячается с каждым ударом»² [Достоевский: 219], в то время как ребенок кричит: «Папа, папа, папочка, папочка!» [Достоевский: 220]), а в другом жертвой аналогичной чудовищной родительской жестокости оказывается девочка пяти лет, все тело которой родители обратили в синяки. Невольно вспоминаются итоговые выводы Ивана по поводу слезинок этой девочки, «замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь» [Достоевский: 223]: герой Достоевского, как известно, отказывался принять будущее гармоническое мироздание, основанное на слезинке бедной, истязаемой отцом невинной девочки, он заявлял, что возвращает Творцу свой билет в эту гармонию. Ассоциативная связь между «парадоксом Петкевича» и педалируемыми в «Братьях Карамазовых» картинами детских страданий слишком очевидна — вплоть до парадоксального совмещения у насильников садизма с романтическими грезами о мировой гармонии.

Однако обнаружение такой параллели способно лишь усилить недоумение читателя, поскольку элементы явного ситуативного сходства только ярче выявляют контраст. У Достоевского жестокость уважаемых взрослых по отношению к собственным детям обусловлена глубоко укорененным в человеческой природе злом — речь идет о патологическом садистском сладострастии. Напротив, Владислав Петкевич предстает перед читателем как во всех отношениях замечательный, добрый, лишенный и намека на какие-либо садистские воцеления человек.

Перед нами какая-то тайна. Обращают на себя внимание некоторые загадочные детали. Так, например, на рассказчицу особенно сильное впечатление произвел эпизод из военного прошлого отца, о котором, видимо, часто заходила речь во время встреч Петкевича с бывшими сослуживцами: однажды в расположении их части появилась оборванная девочка лет десяти, которая, глядя на обедающих бойцов, стала быстро повторять: «Я б ни йила б, я б ни йила б! <...> И когда ей наконец протянули миску с кашей, мигом заглотнула ее» [Петкевич: 10]. Рассказчице приходит в голову мысль, что эта девочка, которая вместо просьбы «Есть хочу» заявляет «Я б ни йила б», произвела на отца очень сильное впечатление. И похоже, что это действительно так. Во всяком случае, в пользу этой версии говорит один из последующих эпизодов книги, связанных с порой юности героини-рассказчицы, когда на смену физическим (плеточным) отцовским истязаниям пришли морально-психологические экзекуции. Героине 16 лет, девушка готовится к первому взрослому балу-маскараду, у нее в этой связи много организационных обязанностей, и вот, прибежав домой, она обращается к матери: «Дай скорее поесть!» [Петкевич: 31]. Услышав эту (вполне естественную для проголодавшегося ребенка!) просьбу, отец почему-то приходит в ярость: «Как ты смеешь таким тоном разговаривать с матерью? Как смеешь требовать?» [Петкевич: 31] В результате Петкевич запретил дочери идти на бал... Возможно, перед ним вновь возникла тень загадочной голодной девочки?

Можно предположить, что какие-то неведомые невротические комплексы Владислава Петкевича, уходящие, может быть, в первые годы его существования, активизировались почему-то в связи с оборванной девочкой, нищенкой Гражданской

² Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. В кн.: Достоевский Ф. М. *Полное собрание сочинений*. В 30 т. Т. 14. Л.: Наука, 1976. — Ссылки на это произведение приводятся в тексте статьи с указанием в квадратных скобках автора и страницы.

войны. Сам герой был явно не способен объяснить причины своего поведения. Тогда, возможно, в парадоксе Петкевича могли бы разобраться психоаналитики? Но все равно непонятно, почему же жертвой гипотетических дисфункций героя оказалась только старшая дочь.

Разумеется, мы вправе вообще усомниться в достоверности истории взаимоотношений отца и дочери и отнести к ней как к невольному позднему вымыслу автора книги. Хорошо известно, что абсолютно достоверных мемуаров попросту не существует. По свидетельству современных нейрофизиологов, в силу особенностей человеческой памяти «воспоминания всегда меняются в соответствии с нашей системой ценностей», «представления о прошлом никогда не принимают застывшей формы и всегда находятся в стадии изменений в соответствии с потребностями и ценностями того момента, в который человек начинает вспоминать» [Бушканец 2015: 21]. Соответственно, человеку, припоминающему первые годы собственной жизни спустя несколько десятилетий, трудно избежать неосознанной подмены фактов фикциями, обусловленной подпаданием мемуариста под влияние всевозможных моральных доктрин, идеологических схем или литературно-кинематографических шаблонов. Однако интересующий нас парадокс Владислава Петкевича не похож на подобного рода мемуарные aberrации как раз потому, что упорно не поддается концептуализации, оставаясь неразрешимой загадкой для самого автора книги.

В результате жестокость отца по отношению к дочери приобретает иррационально-мистический характер. Возникает мотив рока, неумолимой судьбы, ощущение присутствия в изображаемой действительности каких-то запредельных сверхчеловеческих факторов. Владислав Петкевич в буквальном смысле не ведал, что творил, как будто бы оказываясь орудием, инструментом реализации какой-то чуждой, страшной воли.

И возвращаясь вновь и вновь к этой ситуации, читатель, чтобы хоть как-то ее осмыслить, невольно вынужден обращаться к сугубо мистическим версиям. Возможно, отец, каким-то образом предвидя страшное тюремно-лагерное будущее дочери, подобным чудовищным способом готовил ее к ударам, которые жизнь на нее вскоре обрушит, т. е. вырабатывал умение «держаться удар»? Может быть, и в самом деле, если бы не этот детский опыт соприкосновения с беспричинными страшными наказаниями, она бы потом сломалась в сталинских лагерях?

Впрочем, может быть, речь идет о совсем ином. Возможно, агрессивность, в которую периодически впадает добрейший Петкевич, носит универсально-символический, знаковый характер? В индивидууме вдруг как будто обнаруживается какой-то подспудный демонический потенциал, вследствие чего он оказывается вне действия привычных человеческих законов, во власти каких-то вселенских инфернальных стихий. Вот мы воочию видим, как зло овладевает добрым человеком, и эта одержимость становится своего рода эмблемой сталинской эпохи — не так ли миллионы людей превратились в садистов? Ведь традиционные расхожие объяснения, сводящиеся к тому, что эти люди были за короткий срок переформатированы, деформированы порочной идеологией, трудно признать убедительными.

Важный для книги мотив неумолимого, выходящего за рамки любых человеческих законов рока не случайно возникает именно в самой прямой и непосредствен-

ной связи с интересующим нас казусом Петкевича. После избиений маленькая героиня «проваливалась в сон»:

«Мне часто снилось в детстве одно и то же. Снился непонятный знак, похожий на иероглиф. Что-то вроде многоугольной буквы „Ж“, переплетенной с „Ф“. Знак этот то неуклонно разбухал, увеличивался, оболочка его чуть ли не лопалась, то опадал, будто у него внутри были легкие, способные вдыхать и выдыхать воздух. Знак почти замещал меня. Я силилась от него избавиться, отбивалась и просыпалась в смятении. Кто знает, может, так являлся мне знак Судьбы, который я смогла тогда запомнить, но не умела расшифровать» [Петкевич: 14].

Хочется подчеркнуть, что такого рода остающиеся неразрешенными загадки крайне редко встречаются в произведениях мемуарного плана. Парадоксы возможны, только если они находятся на периферии автобиографического текста и не связаны напрямую с главной линией прослеживаемой судьбы. Многие современные исследователи указывают, что для произведений автобиографического типа весьма характерна стратегия создания положительного образа автора [Кованова 2005]: «...рассказчик хочет оправдать себя, представить факты в выгодном свете» [Алташина 2006: 35]. Следовало бы внести в этот справедливый посыл одно немаловажное уточнение: зачастую творец исповедально-автобиографического текста стремится подчеркнуть не столько собственную сугубую позитивность, сколько свое **знание**, т. е. способность к глубокому постижению логики воспроизводимых обстоятельств и характеров. Обычно автор подобного рода исповедальной истории презентует себя в качестве человека, которому открылся, пусть зачастую и постфактум, смысл персональной жизни. Соответственно, молодой автобиографический персонаж — участник воспроизводимых событий может пребывать в неведении относительно логики своей судьбы, но умудренный опытом автор-рассказчик, всматривающийся в эти события через толщу времени, ясно видит их глубинную суть. По справедливому замечанию современных исследователей, «автобиография — это схема упорядочения собственного опыта, авторегулятивная конструкция...» [Лицук, Лицук 2014: 13]. В особенности же данная тенденция к системному упорядочению собственного жизненного опыта характерна для мемуарных произведений, авторы которых, подобно Т. В. Петкевич, прошли сквозь сталинские тюрьмы и лагеря. В таких знаменитых исповедально-автобиографических текстах, как «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына, «Крутой маршрут» Е. С. Гинзбург, «Колымские рассказы» В. Т. Шаламова, лагерные испытания трактуются в качестве страшных ударов, которые, исковеркав жизнь рассказчика, в то же время наделили его бесценным трагическим опытом, позволяющим расшифровать все знаки минувшей судьбы.

В результате же мемуарный текст Петкевич обнаруживает «поступательную (процессуальную) устремленность» [Морсон 2001: 23], которая, по мнению Гэри Морсона, составляет глубинную основу таких произведений, как «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Идиот» и «Бесы» Ф. М. Достоевского, «Война и мир» Л. Н. Толстого. Важную роль в каждой из этих книг играет фактор демиургической неуверенности автора, вследствие чего читатель «чувствует, что позиции, где знание превышало бы его собственное, попросту нет» [Морсон 2001: 17], и «ощущает автора внутри романного мира, пытающимся, подобно своим собственным героям, исправить вещи, которые он не может сделать небывшими» [Морсон 2001: 18]. За неспособ-

ностью героини Петкевич разгадать загадку иррациональной жестокости, проявляемой по отношению к ней ее добрым отцом, мы обнаруживаем подлинную (а не фикциональную) авторскую тревогу.

Очевидно, именно этой особой жизнеподобностью, присущей произведениям поступательно-процессуального типа, обусловлен эффект воздействия книги Т. В. Петкевич «Жизнь — сапожок непарный» на читателя.

Литература

- Алташина 2006 — Алташина В. Д. От воображаемой конфигурации мемуаров к вымыслу романа (к проблеме генезиса романа-мемуаров во Франции XVIII в.). *Известия Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена*. 2006, 21, 2 (7): 35–41.
- Бушканец 2015 — Бушканец Л. Е. Проблема достоверности мемуаров и современные концепции нейрофизиологии памяти. *Ученые записки Казанского ун-та. Серия: Гуманитарные науки*. 2015, 157 (2): 19–27.
- Кованова 2005 — Кованова Е. А. *Риторика автобиографического дискурса (на материале автобиографий американских деятелей политики и искусства)*. Дис. ... канд. филол. наук. СПбГУ. СПб., 2005.
- Лицук, Лицук 2014 — Лицук А. А., Лицук Ж. В. *Мемуары как феномен культуры Серебряного века*. Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского гос. ун-та, 2014.
- Морсон 2001 — Морсон Г. «Идиот», поступательная (процессуальная) литература и темпика. В кн.: Касаткина Т. А. (ред.). *Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения*. М.: Наследие, 2001. С. 7–27.

Статья поступила в редакцию 26 апреля 2018 г.

Статья рекомендована в печать 26 июля 2018 г.

Aleksandr Olegovich Bolshev

St. Petersburg State University,
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russia
olegovich1955@mail.ru

The paradox of Petkeвич (on the peculiarities of the semantic structure of the memoir book by T. V. Petkeвич *Life is an Unpaired Boot*)

For citation: Bolshev A. O. [The paradox of Petkeвич (on the peculiarities of the semantic structure of the memoir book by T. V. Petkeвич *Life is an Unpaired Boot*)]. *Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature*. 2018, 15 (4): 651–658. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu09.2018.412> (In Russian)

The object of consideration is the autobiographical work of Tamara Petkeвич *Life is an Unpaired Boot*. Specifically, we are talking about the paradox which constitutes the basis of the image of the heroine-narrator's father — Vladislav Petkeвич. This follower of the Communist idea, who was characterized by exceptional moral purity, was sadistically cruel towards his eldest daughter Tamara: he beat her with a whip for no reason. The attempts of this confessional book's author to find any rational and logical reasons for whip executions failed. This kind of mysteries remaining unresolved is extremely rare in the genre of memoir literature. The paradoxes can only exist on the periphery of the autobiographical text and are not directly connected with the main line of the traceable life. The young autobiographical character, a participant of reproduced events, may be ignorant of the logic of his own fate, but the sophisticated author-narrator looking into these events closely through the depth of time clearly sees their fundamental essence. This is true especially for authors who like T. Petkeвич went through

the Stalinist prisons and camps. As a result, the memoirs of T. Petkevich detect “the progressive (procedural) determination”, which, according to Gary Morson, constitutes a foundation of such classics as *Eugene Onegin* by A. Pushkin, *The Idiot* and *Demons* by F. Dostoevsky. The factor of demiurgic uncertainty of the authors plays an important role in each of these books. Behind the inability of the Petkevich’s heroine to unravel the mystery of the irrational cruelty that her kind father expressed towards her, we find authentic (and not fictional) author’s anxiety. Obviously, it is this particular life-likeness that has led to the resulting impact of the book on the reader.

Keywords: T. V. Petkevich, autobiography, fate, paradox, cruelty.

References

- Алташина 2006 — Altashina V. D. [From the Imaginary Configuration of Memoirs to the Fiction of the Novel (to the Problem of the Genesis of the Novel-memoirs in France of the 18th Century)]. *Izvestiya: Herzen University Journal of Humanities & Science*. 2006, 21, 2 (7): 35–41. (In Russian)
- Бушканец 2015 — Bushkanets L. E. [The Problem of Reliability of Memoirs and Modern Concepts of Memory Neurophysiology]. *Proceedings of Kazan University. Humanities Series*. 2015, 157 (2): 19–27. (In Russian)
- Кованова 2005 — Kovanova E. A. *Ritorika avtobiograficheskogo diskursa (na materiale avtobiografij amerikanskix deyatelej politiki i iskusstva)*. PhD thesis (Philology). St. Petersburg State University. St. Petersburg, 2005. (In Russian)
- Лицук, Лицук 2014 — Licuk A. A., Licuk Zh. V. *Memuary kak fenomen kultury Serebryanogo veka*. Nizhnevartovsk: Nizhnevartovsk State University Press, 2014. (In Russian)
- Морсон 2001 — Morson G. «Idiot», postupatel'naya (processual'naya) literatura i tempika. In: Kasatkina T. A. (ed.). *Roman F. M. Dostoevskogo «Idiot»: sovremennoe sostoyanie izucheniya*. Moscow: Nasledie Publ., 2001. P. 7–27. (In Russian)

Received: April 26, 2018

Accepted: June 26, 2018